

Словесник не «словесничает», а пробуждает душу

Евгений Ильин

Родители и дети: духовный свет материнской любви

Урок по Чехову «Как протянуть руку матери» (по «Вишнёвому саду»). Юная Аня отправилась в Париж — за мамой. Как хозяйка имения, которое продаётся с аукциона, мама сейчас нужна дома, на родине. Неосознанным предчувствием угадано и то, что вызволить маму издалека по силам лишь ей, дочери. Не случайно словами Ани рисует Чехов типичную сценку.

Аня: Приезжаем в Париж... Мама живёт на пятом этаже... У неё какие-то французы, дамы... и накурено, неудобно. Мне вдруг стало жаль маму, так жаль, я обняла её голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом всё ласкалась, плакала...

Не в ней, а в дочери в этой сцене больше мамы, т. е. взрослого, ответственного человека. Сюжетно мотивируется последующая встреча матери с комнатой, которая до сих пор называется детской. Не капризом звучит и упрёк Ани, что ей, юной, неопытной, «навязали» (для солидности и надёжности) говорливую, шумную Шарлотту. На пути к матери мы духовно мужаем и не страшимся невзгод, одиночества, дальней и трудной дороги. Вместе с тем Чехов не упрощает жизненной достоверности образа. Весело, по-детски ликует Аня, вспоминая некоторые подробности своего путешествия: «А в Париже я на воздушном шаре летала». Ещё и это было в Париже. Впрочем, добраться до мамы легче, чем привезти её обратно. «Едва доехали», — сокрушается Аня. И дело вовсе не в том, что эксцентричную Шарлотту дополнил пустой и чопорный Яша, лакей мамы. И даже не в том, что денег «не осталось ни копейки». Мама, а с нею Шарлотта и Яша требовали в ресторанах «самое дорогое», и разубедить их было невозможно. «Просто ужасно!», — заключает Аня. Кажется, понаблюдав за мамой на пятом этаже и в вокзальных ресторанах, можно бы и поостыть, себя пожалеть. «Натерпелась я», — так определяет Аня своё душевное состояние. Но скажет она об этом только Варе. Об этом и о другом...

Я подошёл к окну и тщательно, не спеша стал закрывать. Студенты пединститута, присутствующие на уроке, переглянулись: я терял, нет, разбазаривал минуты. О том, что это был своеобразный педагогический манёвр, догадывались, быть может, только ребята, знавшие меня: оттого и закрывал окно, чтобы открыть другое — в душе.

Значительно тише, а на самом деле ещё громче, на внутренней интонации, прочитал реплику Ани: «Как я её понимаю, если бы она знала!» Знает ли об этом мама? А мы? Догадываемся, если после реплики пауза — чеховская, с подтекстом, «течением». По интонации не Варе, а себе самой исповедуется Аня. Оттого и нет ответной реплики. Вот вот войдёт Петя Трофимов и своим появлением напомнит об утонувшем Грише, сыне Раневской, учителем которого он был. Аня и это понимает. Сама она едва держится на ногах от усталости («не спала в дороге четыре ночи»), вместе с тем не о себе думает. «Надо бы маму предупредить: Петя здесь», — в тревоге говорит она.

Три персонажа чеховской пьесы по-своему претендуют на понимание Раневской: Гаев, Лопахин, Трофимов. Каждый, по-своему симпатизируя, даёт ей оценку: «порочна» (Гаев); «легкомысленная», «неделовая», «странная» (Лопахин); живёт «в долг, на чужой счёт» (Трофимов). Но никто из них не возвысился до Ани: она не судит, **она любит свою маму и потому понимает лучше других.** Понимает и горькую связь между невинной, казалось бы, привычкой мамы всё время терять кошельки и в результате — потерять имение. Много понимает бесхитростно любящее сердце! Чехов потому и назвал комедию «лирической», что отнюдь не всё в ней смешно. Да, Раневская — пленница прошлого, жалкая, взбалмошная, истеричная. Но она ещё и мать, перед которой можно и должно встать на колени и в тон «тихо играющей музыке» (под занавес) сказать: «Милая, добрая, хорошая моя, мама, моя прекрасная, я люблю тебя...» Ничуть не снижая резких и справедливых оценок Гаева, Лопахина, Трофимова, мы всё же

чуть больше верим Ане. Не в этом ли одна из загадок чеховского текста, которая становится чудом?.. Порочная, легкомысленная, расточительная... И всё равно — хорошая, больше того — прекрасная. Потому что... Потому что — мама. Моя мама. Перечитайте заново пьесу — удивитесь, сколь часто на её страницах звучит это короткое, волнующее «мама». И каждый раз внутренне оно несёт в себе те же эпитеты, какие прозвучали в знаменитом монологе Ани. Это слово окрашивает комедию в лирические тона, быть может, гораздо больше, чем пейзаж, звуковые эффекты, паузы... Заметьте, в отличие от Вари, Аня нигде не скажет «мамочка». Важный нюанс. Поражаешься, с каким изяществом, таким семнадцатилетняя Аня воспринимает и переживает драму матери. Сравним две реплики:

Любовь Андреевна: ...вот тут, на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня...

Уехала, бежала. Иначе, почти как поэт, скажет о том же её дочь.

Аня: Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки.

В такой интонации шёл урок. Вытирая платком вспотевший лоб, я не открывал окна. По-своему мне нужна была эта «духота» людского единения, когда плают не только щёки, но и глаза. Ты, я, он — все, кто на уроке, хоть раз в жизни смогли подняться до чеховской Ани? Понять, полюбить, позвать? Так обнять и прижать маму, чтобы она «ласкалась». И — не радоваться парижской брошке, которую она купила тебе, когда у неё, в сущности, нет и уже не будет денег. Не позволить даже любимому дяде неодобрительно отозваться о маме, а уходя с кем-то

другим, как Аня с Трофимовым, нетерпеливо ждать возвращения мамы...

За минуту до звонка я снова подошёл к окну и открыл его. Было такое чувство, что не от улицы, а от Чехова пахнуло бодрящей прохладой. «Начинается новая жизнь, мама!» — на этих словах чеховской героини меня и застал звонок.

«Окно» с той поры — своеобразное техническое средство, в иных случаях наглядное пособие, когда к нему можно подойти всем классом — и увидеть жизнь.

На перемене горячо заспорили с одним из студентов, присутствовавшим на уроке. «Надо ли прощать родителям, когда они...» — «Надо, надо!» — прервал я его, продолжая урок уже в коридоре.

Немало случаев, когда не в пример родителям дети вырастали достойными людьми. Но при этом была ли чиста их совесть? Хотя что-нибудь сделали они для тех, которые живут пусть не так, скверно, но всё-таки с ними и для них? Знаю случаи, когда, забыв обиды, огорчения, дети великодушно протягивали руку погрязшим в житейской трясине отцу или матери и обретали несказанную высоту духовного, на которую каждого из нас способна поднять лишь незапятнанная совесть. А в самой литературе разве нет подобных примеров? Припомним, как мучается в предсмертной агонии раздавленный щегольской коляской Мармеладов. Вот его блуждающий взгляд упал на Соню, стоявшую в дверях. «Бесконечное страдание изобразилось в лице его». Нет прощения отцу, не без помощи которого собственная дочь «жёлтый билет принуждена была получить». К ней в бессилии протягивает он руку: «Соня! дочь! прости!» Не подошла, не приблизилась, а — «подбежала» она к отцу, обняла его. На её руках и

умер Мармеладов. В грязной, тесной каморке, освещённой огарком свечи, в ту минуту было столько света — духовного, столько истины, теплоты и милосердия, с которыми и отдалённо не соприкоснётся наше порой до жестокости эгоистичное, самолюбивое и злопамятное «я».

Мы бы и дальше беседовали с поборником «справедливости», но звонок нетерпеливо звал к ребятам, в другой класс. Может, с этого диалога и начну? При открытых окнах! Всё равно тишина победит уличный грохот. Обнаружились кое-какие упущенные возможности...

Весь урок искали ответ на вопрос: отчего Наташа и Николай Ростовы («Война и мир») с такой любовью и нежностью относятся к отцу и матери. Перебирали страницу за страницей. Ну да, граф и графиня безмерно добрые, приветливые; душой и сердцем открытые детям, гостям, всякому, кто приходит в их дом... Уютно чувствуют себя здесь Берги, Друбецкие, Долоховы... В доме Ростовых — «мир»! За одним столом (пусть всего лишь на один вечер) примирённые между собою враги. Жить в таком доме — удовольствие. Даже если нет торжества праздника, приподнятое настроение не покидает Ростовых. Их дом наполнен детьми, к которым они, как и к гостям, относятся с величайшим уважением — будь это совсем ещё юный Петя или уже зрелый по годам Николай, приёмная или родная дочь.

Радостными слезами плачет мать, видя, как Николай на её глазах рвёт вексель, по которому Борис Друбецкой (Ростовы и Друбецкие некогда дружили семьями) обязан выплатить довольно крупную сумму. Но дружба, даже прошедшая, даже с горьким осадком, превыше любых денег. Счастье, когда сын понимает это. А ещё — нерешительность матери

(ведь Ростовы разоряются) совершить именно то, на что отважился он. Конечно, не любить и не чтить такую маму нельзя.

Точно так же относимся мы и к графу, которого вообще невозможно представить с чужим векселем, настолько великодушно и совестливо его сердце. Однозначно решает он вопрос, когда узнал, что сын проигрался в карты: заплатить. И тут не просто дворянская честь, достоинство (всего этого не лишён и князь Василий), а ещё и душевное понимание той беды, какая стряслась с сыном и от которой он, Николай, быть может, ещё больше страдает, чем отец. Не о деньгах, платя долг, а о сыне думает старый граф. Не ответить отцу тем же — вроде как предать, перечеркнуть себя, забыв, что в подобных ситуациях (при ином отце) за картёжные долги расплачивались жизнью.

Старшие Ростовы не только советуются с детьми, выручают их, но и слушаются, когда они правы. Редкое качество: не быть «господами» своих детей, слышать их просьбы, упрёки, если хотите, приказы. Своим категорическим «нельзя», вспомним, Наташа буквально заставила маменьку разгрузить несколько подвод и отдать их раненым.

...Долго перебирали страницы толстовской эпопеи. Однако ещё одного очень важного аргумента ребята не находили. И понятно: в открытом тексте его нет. Идти нужно дальше, к подтексту. Высказываю догадку, которую проверим.

Николай и в особенности Наташа душою осознают многим недоступную истину: пока живы родители, хотя бы один из них, — ты ещё ребёнок! Счастливая пора — детство, не где-то в прошлом, далёком и смутном, а рядом, здесь, возле дряхлеющих родителей, в их негаснущей

теплоте. Как это важно — подольше сохранить в себе ребёнка! Набираясь ума, опыта, оставаться прежним — живым, эмоциональным, чтобы мир, окружающий тебя, не переставал удивлять новизной, чудом нераспознанного. Верно, родители остаются с нами, даже когда уходят. Тем не менее сделаем всё возможное, почти невероятное, чтобы отодвинуть горькую минуту расставания с ними, а в чём-то и с самим собой. «Ты жива ещё, моя старушка, Жив и я...» — многозначны, а не только поэтичны эти есенинские строчки, обращённые к матери. Над ними ещё предстоит подумать. А пока полистаем «домашние» страницы «Войны и мира». Может, среди очевидных аргументов есть и этот? Дети Ростовы, как и их родители, мудры сердцем, и надо услышать его биение в страницах романа. Услышать и усвоить ещё одну непростую истину. Старички не только радость, но и бремя забот, тягот, неудобств, когда, допустим, болеют. Подспудно хочется освободиться, поторопить... Остановитесь! Не думайте так! — слышу голос Толстого. — Пощадите в себе ребёнка!

Острота проблемы (философской, нравственной, житейской), потребность продолжить начатый, но не завершённый урок снова толкнули ребят к книге. Не только поводом для размышлений, но и источником была она для них. Сегодняшняя жизнь даёт печальные примеры, как обращаются иногда с родителями, ставшими в тягость. Разговор об этом так необходим. На уроке и средствами урока удаётся внушить истины, от которых зависит судьба многих. Никакие беседы «за рамками» такого эффекта не дадут. И вот почему. Ребята не подозревают, что они, а не книга — первоценность. Включаясь в учебную якобы работу (в действительности так и есть), они

становятся открытыми, доступными в человеческом плане. **Приём «отвлекающего манёвра»** позволяет в связи с книгой сказать ребятам нечто такое, о чём не скажет и сама книга. Но только словесник-дидакт (в лучшем смысле этого слова), войдя в сотворчество с писателем, его позицией, взглядами, способен шагнуть дальше книги. И такая книга уже не может остаться в стороне: её **читают!** Читают пытливо, вычерпывая опыт, потому что именно он и поманил в книгу. Словесник, который «словесничает», не понимает, к сожалению: изучать книгу нельзя. И она, и школьник всячески противятся этому. С искусством можно и нужно общаться, наполняясь той же свободой, мудростью, какую оно несёт в себе.

В числе страниц, где был услышан «голос», оказалась и эта.

В ночном разговоре с Пьером больше всего огорчило Каратаева то, что у Пьера «не было родителей, в особенности матери».

«— ...Как же, у вас, барин, и вотчина есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики-родители живы?».

Тут-то и «огорчился» Каратаев: полной чаши, выходит, нет. Хоть и барин, хоть и дом, хоть и вотчина есть. Без тех, кто даёт нам жизнь и кому даём её мы, «полная чаша» невозможна.

Когда книга увязана с проблемой, остро и живо волнующей, сам ученик расширяет «зону» анализа, заглядывая даже в те страницы, где по сюжетному повествованию Ростовых нет. Между тем присутствует авторское отношение к ним в характеристике других персонажей. Подмечено весьма любопытный штрих. Вслед за главой о Каратаеве сразу же появляются Ростовы (графиня, Наташа, Соня), в доме которых уми-

рает Болконский. Не только словами, абзацами, но и состыкованностью глав, угадывая их созвучие, мыслит писатель-художник. Так, углубившись в свою проблему, школьники ощутили и механизм книги.

Переключение одной действительности (реальной, жизненной) в другую — художественную, образную было естественным и необходимым. С книгой соприкоснулись и как с фактом искусства. Меру такого соприкосновения определяют не догмы и даже не интуиция, а интересы самой проблемы, которой заняты. Иными словами, **учебно-теоретические аспекты общения с книгой всецело определяются нравственными категориями.**

Тридцать «спасибо» — каждому в отдельности

Соотношение между планом и импровизацией настолько гибкое, что всегда есть возможность отодвинуть план и многое начать по-другому. План — не помеха, а скрытый, не всегда осознанный импульс к новой попытке. Словесник, идущий на урок без плана, долго и всерьёз импровизировать не может. Даже с интересом слушающий ученик рано или поздно пожмёт плечами. Импровизатору план особенно необходим! Не условный и приблизительный, а продуманный, почти конспективный. Другое дело — потребуется ли? Он для того и нужен, чтобы иной раз умело отойти от него, избегая при этом анархии, самотёка.

«Мёртвые души» всегда были камнем преткновения. После «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени» ощущался некоторый спад: на смешное по-гоголевски у ребят не хватало эстетического вкуса. А тут ещё весна, когда и вовсе не до книг, особенно если сюжет уступает

детализации. Пугают и страницы... Пробовал увлечь ребят и так и сяк, ибо цель-то в конце концов одна: прочитали бы! Накануне составил подробный план: коротко расскажу фабулу, затем займусь деталями, чтобы увлечь гоголевским смехом. Досмеиваться будем дома, читая или перечитывая текст. О фантастической закупке умерших сообщил за пять-десять минут, пора бы и комментировать. Но подсознательно «держала» фабула.

Ребята оживились, когда спросил: почему Чичиков непременно должен уехать? Для сегодняшнего информированного школьника нет вопроса, на который бы он не отреагировал самоуверенно поднятой рукой. Аргументы следовали один за другим.

— Чичиков «ехал» ко второму и третьему тому, которые Гоголь хотел написать.

— Правильно. Но почему не написал? А написав, съёл?

— Люди, окружавшие Чичикова, неповоротливы, как Собакевич, недогадливы, как Манилов. Вот и уехал...

— «Всё прошибёшь копейкой» — потому и уехал.

— Уехал, потому что всем понравился, а когда поймут — уже поздно.

— Какие определения даёт ему губернское общество? Выпишем на доске, в колонку: благонамеренный учёный, знающий, любезный, обходительный, милейший, преприятный.

Каждое иронически раскрывает обманчивый облик «порядочного» человека, обернувшегося вдруг подлецом и мошенником. Не от этого ли мужества «шевелинуть» подноготную человека знаменитый гоголевский смех сквозь слёзы и целый период в русской литературе, именуемый с лёгкой руки Чёрнышевского *гоголевским*? Не отсюда ли берёт своё начало гений Достоевского, по-гоголевски заглянувшего в че-

ловека, только ещё глубже, бесстрашнее? Не остался в стороне и Лев Толстой с его умением срывать маски. О Щедрине и говорить не приходится: Гоголь в нём — как лицо в зеркале. Автор «Мёртвых душ» потому и сжигал дважды рукопись, что угадал «сокровеннейшие мысли» своего героя, увы, не способного свернуть на «другую дорогу», где можно не оглядываться...

Ещё один ответ на мой вопрос:

— Чичиков уезжает, потому что сноровка есть: он всегда в дороге!

Минуточку! У него есть дорога. Впереди целое столетие «быстрой езды» — за капиталом! Чичикову было куда ехать — за «копейкой». И точно копейка, бойко катится колесо его брички. Не только помещиков, чиновников, самого автора провёл этот рыцарь наживы, незаметно пересев из своей брички в другую, что несётся «птицей-тройкой». Надвигалась эпоха «деловых людей»: махинаторов, скупщиков, приобретателей.

От Гоголя пошли к Достоевскому и дальше — к Горькому... Затем вернулись к Грибоедову и Пушкину, так сказать, к истокам *делового* человека в литературе. И снова к Гоголю. Не случайно двум персонажам даёт он предысторию: Плюшкину, символизирующему полный распад крепостной России, и Чичикову, олицетворяющему «перемены». Новый век берёт своё начало в старом: «все приобретают». От «всех» заражается и зарождается мошенник крупного плана: если «от всех», то всё и умеет — даже говорить по-французски, не зная французского. Не к возрождению, а к обогащению уносит его по русскому раздолью неудержимая тройка. Сейчас, объективно, на беспредельном просторе России разворачивается и набирает силы «богатырь копейки». Вместе с капиталом растёт и изобретательность, пред-

приимчивость, коммерческий аппетит. На смену коляскам и бричкам вот-вот придут паровозы. Скорость — это время, а время — деньги! Те самые, которыми «всё прошибёшь». Не Гоголю, а писателю уже иной исторической эпохи суждено дорисовать «мордашку эдакую».

Люблю продолжить урок свободным заданием. Например, сочинением: «Чичиковщина в нашей жизни...» Или: «Кто же он относительно качеств нравственных?» Вопрос задаёт сам Гоголь. Почти по ровну выбрали ребята ту и другую тему, раздумывая над персонажем, которого не просто наблюдали со стороны, а как бы ехали с ним в одной бричке. Вот выдержки из сочинения с грифом «Строго секретно».

«...Вы советуете, когда пишем сочинение, чтобы ниоткуда не списывали, чтобы сами. Посоветуйте это моему папе. Сплошной плагиат. Ни сносок, ни кавычек. Не читают, а трясут книги, как яблони у себя на даче. Письменный стол отца завален анкетами. Что-то «диагностирует», «прогнозирует», «зондирует». Но цена анкетам невелика: пишут то, что нужно ему, а процент — можно взять и с потолка. Ведь хотел же Чичиков когда-то заселить мёртвыми всю Херсонскую область. Вот такой наукой занимается папа. Как и у Чичикова, сплошные «командировки»: семинары, конференции, симпозиумы. Другой раз целую неделю чем-то «обмениваются» за государственный счёт! А послушаешь, только и делали, что разъезжали на теплоходах, навещали приятелей, расширяли «связи»... Я видела людей неглупых, но «купленных» папой, как Чичиков покупал мёртвых. Думаю, всякий, кого покупают, и есть мёртвый, а живым только прикидывается...»

...Прошло немало времени с той поры, как родился этот урок: от-

ступлением от плана — к ученику. Элементы детектива так или иначе присутствуют во многих художественных произведениях. Упустить их — нельзя. Почему Чичиков должен «ухать», Раскольников «уйти», Половцев «исчезнуть» — это те самые «почему», которые всерьёз и глубинно волнуют юношеский ум и через которые нередко открывается сложнейший художественный замысел. Но своих молодых, ещё неопытных коллег предупреждаю: **«отступить» можно лишь от чего-то, только тогда придёшь к чему-то.** В этом смысле сколько предварительного, столько и непредвиденного. *В гармонии «опоры» и «движения» — секрет стабильной импровизации.* Просчёты возможны. Как и обретения, они в самой импровизации. Но словесник не должен бояться ошибок, иначе себе и ученикам, а в общем и писателю закроет творчество. До сих пор не уверен, прав ли, делая коляску «персонажем» поэмы? Ведь Гоголь очень внимателен ко всем её состояниям. Вообще «экипаж» Чичикова символичен, требует размышлений. Из чего состоит он? Хозяин, слуга, кучер, три по-своему персонифицированные лошади: Гнедой, Заседатель, Чубарый, наконец, сама бричка. Экипаж, если хотите, своеобразный мини-портрет тогдашней России, её быта, социальных взаимоотношений. Вместе с «дорогой» он составляет одно из главных звеньев сюжета. Ещё раз открою «Мёртвые души» — не дома, не за письменным столом и чашкой чая, а в классе, чтобы по реакции ребят, наиболее зрелых в эстетическом отношении, снова и снова проверить себя, чтобы поверить себе.

«Нужен ли план?» — вопрос, который чаще всего задают.

Нужен. Чтобы отвоевать, а вернее, заслужить право на бесплатный, импровизированный урок.

Знание через общение и общение через знание рождают добрую привычку начинать урок не с темы, а с разговора, привычку, которая требует от учителя, особенно увлечённого, безупречной памяти. Иначе курьёзы.

...Урок о проблемах счастья («Кому на Руси жить хорошо...») начал в излюбленной манере — с разговора. «Кому живётся весело, вольготно на Руси?» — этим вопросом мучаются некрасовские мужики. «Купчина толстопузому!» — сказали братья Губины, Иван и Митродор. Старик Пахом потужился и молвил, в землю глядя: «Вельможному боярину, министру государеву». А Пров сказал: «Царю...» Но почему многоточием заканчивается спор? За царём-то, в сущности, никого?! Точка нужна.

«Смотрите, смотрите, — раздалось из глубины класса, — у каждого эпитет! Купчина — толстопузый, боярин — вельможный, а царь? Эпитет — нужен!» Верно. Поищем? Какой царь — на которого дважды покушались? Не исключено, что эпитет — в самой поэме. Хотя могут быть и другие источники. В главе «Помещик» Некрасов снова повторит строфу, оставляя многоточие, но при этом добавляя слово, как бы ритмически усиливая необходимость эпитета.

По ходу урока — задание: «определить» царя, т. е. найти эпитет. Соратник Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Некрасов, как и они, пользовался средствами тайнописи. Многоточие, возможно, одно из них. Но есть у него и другая функция, уже методическая: выискивая «словечко» в поэме, прочитать её.

Когда на доске я записывал тему урока: «Что творилось с Гришею?» — ребята мелко переглянулись. Затем дружно заспорили: почему в московский, а не в петербург-

ский «новорситет», по словам отца, порывается Гриша? Многозначно истолковали строчку: «Дьячок рыдал над Гришею: создаст же бог головушку!» Принести родителям такие вот слёзы — по-своему счастье. Кстати, на Гришину светлую «головушку» оказано и «земное» влияние. В чём оно?

Заботливо и нежно любят крестьяне своего будущего заступника.

— Дай бог тебе и серебра,
И золотца, дай умную,
Здоровую жену!

Таков идеал мужицкого счастья. Умная, здоровая жена — совсем неплохо. Двумя ёмкими определениями всё сказано. Если умная, здоровая, значит, и красивая. И чистоplotная, как Матрёна, Дарья. И — верная мужу. Такая жена — счастье! За неё, за себя, своих детей — всегда спокоен.

Тем не менее о другом помышляет Гриша:

... Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело...

До такого счастья поднимается только он, сознавая, что путь к нему лежит через университет, чухотку, Сибирь. О земляках в общем тревожатся и Гирин, и дед Савелий, и Матрёна, а вот о каждом — революционер-разночинец.

Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое...
Есть ли счастье в громком имени? Заспорили. Кто-то вспомнил Пушкина: «Без неприметного следа / Мне было б грустно мир оставить...» Я же процитировал Маяковского:

Радуюсь я: это мой труд...

Рождённое тревогой и заботой о каждом, громкое имя — примета большого, гражданского счастья. А то, что Гриша пишет стихи и делает это с такой же любовью, как косит траву, пашет землю, в аспекте счастья тоже немаловажно: гармоничная

личность! К числу «земных» мотивов, сформировавших интеллект юного разночинца, отнесли и это: Гришина головушка — «натруженная». У других — только спины, руки, ноги. «В нём сильно мысль работала», — пишет Некрасов. Мысль и — сердце. Как сжалось оно от боли, когда Гриша услышал песню, что пела ему в детстве рано умершая мать. Может, и она, крестьянка Домна, как и мать самого Некрасова, «лёгкой тенью» вводила героя и автора поэмы «в стан погибающих». Попросил ребят дома прочитать и выучить строчки о двух мирских дорогах, подумать, по какой, с кем и за кем идти.

Как онегинский «недремлющий брежет», мои внутренние часы (интуиция) отзванивали конец урока. Я от души поблагодарил за активную работу, кого-то хотел отметить персонально... Как вдруг...

— А вы нам об этом уже рассказывали, — тихо прозвучало с передней парты. Ребята с укором посмотрели на Таню.

Всякие курьёзы случались. Но этот заставил безжалостно взглянуть на себя. Не перестал ли видеть ребят? Уже не они, а буквы «а», «б», «в», «г» отличают один класс от другого. Если так, то мой путь к ученику на этом уроке и в этом классе обрывался навсегда.

Мужество никогда не оставляло меня. Придя на другой день в класс, я при всех поблагодарил Таню за честную, хоть и запоздалую реплику. Затем сам над собой пошутил, сказав, что тему урока немного следовало бы изменить: «Что творилось с...» — и назвал себя. Ребята расхохотались. Учитель — такой же обыкновенный человек, как и все. А когда он сознаётся в этом, ребята ещё ближе к нему, а он к ним.

— Поднимите руки, — с улыбкой спросил я, — у кого бывали заскоки?

Все сорок разом подняли.

— Ну вот, нечто подобное и со мной...

Ребята, если с ними в большой дружбе, великодушны, умеют кое-что не заметить, что-то простить. Когда учитель по-человечески свой и в то же время учитель сам как бы часть класса, ему прощают не только мелочи и не только один раз. Однако, думаю, реакция класса была бы совсем иной, скопирую я урок полностью, как это часто делаем. Никакие симпатии тогда не помогут. В каких-то ключевых деталях я, безусловно, повторился, но в целом — нет. Не копировал, а искал себя. Это был новый урок, вскрывавший резервы старого, т. е. потенциал художественного текста. И ту неловкость, какую я ощутил (кстати, впервые за много лет), не только можно было понять и простить, но и принять как своего рода творческий приём. Тем более что класс педагогический, и я не раз уже беседовал с ребятами о резервах урока, творческих путях к одному и тому же, о неизбежных в практике учителя вариантах. Сейчас понимаю: мог бы случиться — промах выдать за манёвр. Поддержать ученицу: верно, Таня, об этом я уже рассказывал, но... С ребятами не лукавлю — не сейчас, так потом всё равно разгадают. Здесь ещё больше, чем на суде, нужна правда, только правда и вся правда.

Не утаю и другой подробности. После того урока моя Татьяна расплакалась. «О чём?» — спрашиваю. Оказывается, весь урок она хотела предупредить меня, но не смогла, настолько вдохновенно и азартно работал класс. Она же капризно начала один урок с другим и в итоге теряла оба. Не смогла предупредить, потому что никто, кроме неё, этого не видел. А может, и не хотел. Ребята, как и я, жили уроком, а не при-

существовали на нём. Говоря о некра-
совском счастье, ещё больше при-
близились к идеалу своего — быть
добрыми, чуткими, великодушными.

После того урока «о счастье»,
что разом огорчил и удивил — доб-
ротой ребят, вспомнился давний
случай, произошедший со мною, о
котором захотелось рассказать —
ученикам. Пусть со стороны увидят,
**какими и впрямь замечательными
бывают они, когда идут навстречу
учителю, и как порой трудно ему,
разбудившему их, во всём соответ-
ствовать им.** Не только книжный
эпизод, но и жизненный случай,
имеющий отношение к книге, может
стать уроком. В серьёзном и важном,
хотелось сказать ребятам, мы намно-
го старше своего возраста, ибо воз-
раст — не только число лет, размер
ноги, костюма, шапки, но и ума, и
нашей душевности.

...Не раз, наверное, каждый за-
мечал: бывают дни, когда не пой-
мешь, что с нами происходит. Вроде
бы и выпались, и дело ладно дела-
ем, а настроение вялое, раздражи-
тельное. Ни с того, ни с сего нагру-
бишь кому-то. И от этого ещё боль-
ше невесел. Случается то же и с учи-
телями. Нет, мы не грубим (владеем
собою), но в класс иногда приходим
без улыбки, сердитыми. А без улыбки
учителю — да ещё литературы —
нельзя. Улыбка — наш рабочий инст-
румент, она, как говорил Экзюпери,
объединяет. Её не вынешь из порт-
феля и не наденешь, как очки. Сама
должна появиться. Непритворная,
точно не кому-то, а себе улыбаешь-
ся. Однако прежде чем добрым све-
том заискрятся глаза и исчезнут
морщинки, надо, чтоб улыбнулась
душа. Освободилась от груза невесё-
лых мыслей, забот, неудач. У всех
бывают неудачи. Есть они и у нас.
Ведь учитель отвечает сразу за

30–40 ребят — перед обществом, ро-
дителями, своей совестью, наконец.
Если бы только за себя, то и хлопот
нет. А тут — за каждого. Да ещё за
двоих собственных детей и тех, с кем
они дружат по лестничной площад-
ке, спортивной или музыкальной
школе, куда ходят по вечерам. Учи-
тель — всегда на работе. И чуткая
душа заметит, как старается он ино-
гда спрятать плохое настроение, ус-
талость. Сердится, если не получает-
ся, вроде бы на детей, а в действи-
тельности — на себя. Усталость —
как затупившийся карандаш; бумагу
царапает, а рисунка нет. Что, к при-
меру, делаем, когда запотело окно в
автобусе или трамвае, а надо посмо-
треть, чтобы не проехать остановку?
Правильно, ладошкой стираем се-
рую пелену влаги, и вот оно, стек-
ло — снова чистое, промытое. Так
же — только не ладошкой, а добрым
словом, хорошим поступком, можно
снять и пелену усталости, обиды,
плохого настроения, чтобы яснее ви-
делась дорога, по которой сообща
идём или едем. Вот и улыбнулось
строгое лицо учителя, доверчиво и
щедро открылась его душа, потому
что ему помогли стать таким...

Был со мною случай.

Это хорошо, когда школа сов-
сем близко от дома, иной раз, не на-
девая пальто, добежишь. А вот я до-
бираюсь сперва на автобусе, затем
на метро, а там ещё и пешком минут
десять. В общей сложности больше
часа. Жалко даром терять столько
времени. Автобус и метро давно уже
стали для меня читальным залом на
колёсах. Отыскать местечко и сесть
не всегда удаётся, да и нерасчётливо:
то женщине, то пожилому мужчине
уступить надо. Оттого и не сажусь, а
где-нибудь в углу достану из порт-
феля книгу и читаю, даже кое-какие
пометки делаю. Слегка, конечно, и
карандашом, чтобы потом стереть.

В дороге читаю только личные книги, библиотечные — никогда. С ними ещё бережнее и аккуратнее надо обращаться. Порой так увлекусь, что забуду, куда проездной билет сунул. Водится за мной такой грех — то в карман, то в книгу положу, а то и во все в руках комкаю. Сколько неприятностей из-за этого! Вот и сейчас: «Ваш билет, гражданин?» — слышу голос контролёра. Хоть убей, не помню, где он. Пошарил, порылся — нет билета. Кто-то сбоку уже не поддоброму смотрит: дескать, взрослый, с портфелем, в очках, да ещё и книжку читает, а пять копеек пожалел. Среди взрослых, к сожалению, встречаются люди, которые рады другого в чём-то заподозрить. Были, конечно, и такие пассажиры, которые отнеслись ко мне иначе: «Вы лучше поищите, гражданин. Да не спешите. Я же видела, как вы платили», — сказала женщина, одной рукой держась за поручень, другой — за сумку, набитую покупками. Ей, а более всего мне, виноватому, растерянному, поверил контролёр и, строго сказав: «Поаккуратнее с билетами!» — отправился к выходу.

Уже в метро, снова открыв книгу, я увидел между её страницами злополучный билет... И вот с таким настроением вошёл в класс. Ни пошутить, ни улыбнуться. А ребята тонко угадывают настроение. Дома надо было выучить стихотворение и теперь прочитать наизусть. «Кто первый?» — строго и скучно спросил я, копаясь в портфеле. Я взглянул на ребят — и оторопел: тридцать дружно поднятых рук увидел перед собой. Но не в каждом лице читалось желание прочитать. Иные глаза выражали просьбу: кого угодно, только не меня. Я смотрел на ребят — уже улыбаясь им. Вдруг и мне захотелось сделать что-то очень доброе, хорошее. Открыл книгу, с кото-

рой ехал в автобусе и на которую теперь уже не сердился (то был Пушкин), и весь урок читал его стихи, а кончил строчками:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен...

Передо мной и впрямь сидели уже не школьники, ученики, а друзья, которые не позволили мне быть мрачным и сердитым. Ведь в таком настроении учитель порой бывает придирчив. Смотришь — и посыпались в журнал «двойки», как зерно из дырявого мешка или худого кузова. А «двойки», как и рассыпанное зерно, — серьёзные потери. Ребята не дали мне «потерять» высоту, а себе — своё расположение ко мне. А если хорошенько подумать, то и к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, с которыми я должен был их подружить. Сколько потерь ожидаю нас, когда мы не понимаем друг друга, друг другу не помогаем.

Неверно, будто всё во власти учителя. Много, но не всё. Что-то очень существенное, значительное и в руках ребят, протянувших свои руки учителю. Ведь помимо зрения есть ещё и видение, которое называется зоркостью. Можно, к примеру, иметь стопроцентное зрение и — нулевую зоркость. Взаимных обид тогда не избежать. Надо учиться зоркости, духовному зрению. Оно делает нас добрыми, чуткими.

...Очарованные стихами Пушкина, ребята, когда прозвенел звонок, один за другим не спеша выходили из класса. Я стоял у дверей и каждому (да-да, именно каждому!) с теплотой и нежностью говорил: «Спасибо!» Такая уж наша работа: за один урок иной раз тридцать «спасибо» скажешь. И ещё тридцать «спасибо» — каждому в отдельности... За доброту.